

Ответ критикам

Провокация удалась. Описание латентных оппозиций на постсоветском академическом пространстве и слабо завуалированное предложение рассчитаться на туземных и провинциальных ученых, содержащееся в списке вопросов после нашей статьи, ожидаемо вызвали значительное число откликов. Менее ожидаемым было то, что, несмотря на неизменную страстность обсуждения темы, многие из них обнаружили продуманность, в свете которой наш собственный текст безнадежно теряется. В отношении некоторых мы можем лишь льстить себе мыслью, что дали повод для их написания. Однако, поскольку традиция «АФ» состоит в том, чтобы оставлять за авторами вводного текста последнее слово, нам придется взять на себя смелость произнести его.

Изучив отзывы один за другим, читатель обнаружит, что в действительности их авторы спорят друг с другом куда ожесточеннее, чем каждый из них по отдельности — с нами. Кто-то соглашается с определением российских социальных наук как полностью провинциальных / туземных и предполагает, что это состояние неизменно (Сергей Ушакин), а кто-то считает, что некоторые из них вполне столичные, а нероссийские, наоборот, туземны / провинциальны по отношению к ним (Владимир Напольских, Михаил Крылов). Кто-то считает, что провинциальность — это даже

хорошо для настоящего этапа развития науки (Юлия Бучатская, Юрий Пустовойт), кто-то — что она по крайней мере лучше, чем туземность (Адиль Родионов, Андрей Нехаев), а кто-то придерживается прямо противоположного мнения (Михаил Крылов). Кто-то считает, что за дистанцией между центром и периферией скрывается стратегия доминирования англо-американского истеблишмента (Олеся Кирчик), а кто-то — что и стратегия, и истеблишмент в значительной мере плоды периферийного воображения, а мир вообще более открыт, чем мы хотели представить (Марина Могильнер)¹. Кто-то упрекает нас в том, что мы втайне стоим на стороне провинциалов (Николай Розов, Михаил Крылов), а кто-то — что на стороне туземцев (Адиль Родионов)². В совсем уж психоаналитическом ключе некоторые нарисовали картину академического мира, в которой преобладает бессознательный страх перед поглощением (Александр Кузнецов), а другие — желание быть поглощенным (Андрей Нехаев).

Критикуя нашу статью с диаметрально противоположных позиций, авторы «Форума» избавили нас от труда реагировать на многие замечания, поскольку ответ на них уже был предоставлен другими оппонентами — часто в более ясной и красноречивой форме, чем мы могли бы дать. Мы решили ограничиться той частью критики, которая обращена персонально к нам и касается теоретической основы наших аргументов, самого определения туземной, провинциальной и столичной науки, которое мы дали на его основе, и общей логики возникновения каждой из них. В частности, мы ответим на вопрос о том, почему мы ничего не говорим о содержании посланий, которыми обмениваются ученые, и о том, признаем ли мы способность к генерации смысла самостоятельным фактором в распределении научной известности (см. замечания Марины Могильнер, Николая Розова и Адила Родионова). Мы также попробуем возразить на критику относительно того, что мы можем заблуждаться, отождествляя всякий акт научного говорения с коммуникацией между учеными (Сергей Ушакин, Алексей Титков). Чтобы не превращать «Форум» в самооправдательный монолог, мы неизбежно опустим более частные замечания, например, касающиеся положения дел в отдельных дисциплинах (тем более что большей части своих знаний о многих из них мы обязаны Википедии) или спорности отдельных эмпирических аргументов, таких, например, как наша

¹ Никто из авторов не сказал прямо, что наши рассуждения об асимметрии академической миросистемы есть рационализация нашего собственного интеллектуального бессилия, но, кажется, некоторым стоило существенных усилий затормозить непосредственно перед этим заявлением. Можно и не говорить, как мы благодарны за это.

² Как увидит читатель, вторые ближе к истине, чем первые.

вольная трактовка международного позиционирования Чикагской школы (на которую обратили внимание Андрей Нехаев, Адиль Родионов и Алексей Титков)¹.

Последнее замечание. Как и полагается, наше собственное видение обсуждаемого предмета прогрессировало по мере обсуждения, и, благодаря нашим критикам, мы заметили массу несовершенств в исходных формулировках. Попытки заменить их

¹ Тем не менее о Чикагской школе все-таки необходимо сказать два слова. Ключевые фигуры ее первого поколения — Смолл, Парк и Томас — учились в Германии (хотя никто не провел там более двух лет) и в этом смысле следовали общей траектории американских академических провинциалов своего поколения. Их знание европейской социологии было, однако, фрагментарным в лучшем случае. Первые номера «*American Journal of Sociology*», издаваемого Смоллом, состоят в значительной степени из переводов Зиммеля. Всего за годы редактирования Смоллом журнал издал порядка двух десятков зиммелевских статей, включая, например, монументальную «Социологию секретности и тайных обществ», занимающую половину четвертого номера 11 тома (1906). Также вышел перевод одной короткой статьи Тенниса. Ни один из прочих европейских классиков (Дюркгейм, Вебер, Зомбарт) не удостоился, однако, чести быть переведенным, хотя на книги Дюркгейма Смолл писал рецензии. Но уже в 1920-х гг. чикагские аспиранты больше не осуществляли паломничество в Европу, а на место европейской звезды, близость к которой чикагцы прежде демонстрировали как символ своей причастности к мировой науке, лидеры школы начинают смело ставить самих себя. Во «Введении в науку об обществе» (1921) Парка и Берджесса, хрестоматию, состоящей из 268 небольших фрагментов, перу самого Парка принадлежит 13, Зиммеля — 10, Смолла, Самнера и Дарвина — по 4, Томаса, Дьюи и Бехтерева — по 3. Остальные появляются не чаще двух раз, в частности, Дюркгейм, Хобхауз, Спенсер, Ле Бон и Робертсон Смит — дважды, Теннис и Зомбарт — единожды. Интересно, что влияние самобытной американской прагматической философии, которая в следующем поколении станет частью «изобретенной традиции» Чикагской школы, тогда еще не ощущается: Кули упоминается однажды, а Мид — вообще ни разу (включенный отрывок с определением «социальной роли» принадлежит перу Бине). Когда десятилетием позже основной конкурент чикагской социологии, Гарвард, начинает массированный импорт европейской социологической теории, ее неприятие в Чикаго станет еще сильнее (по симметричным причинам, гарвардский Ортодоксальный Консенсус не будет включать ни Зиммеля, ни прагматистов). Гоффман, десятилетия спустя вспоминая о времени обучения в 40-е гг. в Чикаго, будет говорить, что «Протестантская этика» была едва ли не единственной европейской книгой, которую все студенты там читали [Verhoeven 1993].

А теперь спроецируем это на знакомый нам контекст. Представьте себе, как квалифицировались бы российские социологи, которые проделали бы следующую траекторию. Примерно в начале 1990-х гг. некоторое время они стажировались во Франкфуртском университете (трудно найти аналог Зиммелю, но Хабермас по целому ряду причин кажется наиболее удачным сравнением; кроме того, никто из отечественных социологов, насколько нам известно, не стажировался у Хабермаса, так что этот пример не будет похож на личный выпад). Степень их близости к классику была весьма относительной, но, вернувшись, они провозгласили себя его учениками и наследниками, создав индустрию переводов его трудов и игнорируя всю остальную европейскую социологию. На протяжении следующих двадцати лет Хабермас занимал в их профессиональном сознании все меньше места, а они сами все больше, пока, наконец, к 2013 г. они не сжились с ощущением, что вся стоящая социология делается в России, причем непосредственно вокруг них, скажем, в том же уральском городе (будем считать Урал аналогом американского Mid-West). Они издавали хрестоматию по «Современной социологии», состоящие более чем наполовину из отрывков из их собственных трудов, преподносивших как безусловная классика, а также текстов психологов, антропологов и биологов, работающих в том же уральском университете, что и они. Попытки младшего поколения московских, петербургских и новосибирских ученых указать, что в Европе и где-то еще за пределами России делалось и даже продолжает делаться что-либо интересное помимо Хабермаса, более не воспринимались ими всерьез. Вряд ли кто-то затруднится квалифицировать эту группу в ее нынешнем состоянии как гипертуземную, несмотря на ее безусловно провинциальное начало. Возвращаясь к Чикагской школе: то, что нам кажется сегодня ее важным вкладом в социологию, было сделано именно благодаря туземной, не провинциальной, фазе динамики. Провинциальная фаза не оставила ничего, кроме конспектов Зиммеля, вроде виртовского «Урбанизм как образ жизни» — изящного, но безнадежно вторичного текста.

лучшими привели, однако, к тому, что пути самих авторов разошлись. Мы обнаружили, что видим улучшения в совершенно разных направлениях. Поэтому читатель найдет дальше две реплики, а не одну.

Библиография

Verhoeven J.C. An Interview with Erving Goffman, 1980 // *Research on Language and Social Interaction*. 1993. Vol. 26. No. 3. P. 317–348.

МИХАИЛ СОКОЛОВ

Фреймы и территории: несколько заключительных соображений по поводу дискуссии в «Антропологическом форуме»

1. Роды и виды академической небуквальности

Сразу несколько авторов указали на два проблематичных места в наших аргументах, на первый взгляд не связанных, но при ближайшем рассмотрении друг друга проясняющих. Марина Могильнер и Николай Розов (а также, под другим углом, Адиль Родионов) отметили, что мы ничего не говорим о содержании сообщений, которые ученые посылают друг другу. Значит ли это, что мы считаем, что содержащаяся в них информация вообще irrelevantна для их восприятия и что правила, указывающие, кого слушать, не оставляют никаких шансов для периферийных ученых, даже если их послание содержит значительную интеллектуальную новизну? Грубо говоря, если периферийный ученый напишет книгу, которая, в силу его одаренности и удачного стечения обстоятельств, попадет в тему науки «центра» на 120 %, в то время как в самой центральной науке сопоставимых попаданий не будет — хотим ли мы сказать, что его не заметят? Заметят, говорит Марина Могильнер, и приводит примеры.

Михаил Михайлович Соколов
Европейский университет
в Санкт-Петербурге
sokolovmikhail@yandex.ru

Между тем Сергей Ушакин и Алексей Титков указывают на то, что мы неосторожно

обращаемся со словом «коммуникация» и по умолчанию предполагаем, что все, что имеет поверхностное сходство с отправкой сообщения коллегам, в действительности таковым является, хотя на самом деле может иметь место нечто иное — или ритуальное воспроизведение институциональных форм типа конференции, необходимое для бюрократической отчетности (Юлия Бучатская), или обращение, но не к аудитории коллег, а к какой-то другой, например массовой, для которой академическое обрамление является лишь декоративным элементом (Алексей Титков)¹.

Я попробую прояснить, что кажется мне ответом сразу на оба замечания. Гоффман [Goffman 1974] говорит, что люди воспринимая и создают реальность, ориентируясь на некоторый набор схем, служащих ее моделью — одновременно *model of* и *model for* в терминах Гирца. Эти схемы он называет первичными — *primary frameworks*. Реальность, сохраняющая видимость соответствия им, может, однако, быть модифицирована, став в некотором роде ненастоящей — как когда игра молодых животных имитирует настоящую схватку, или театральная группа разыгрывает события пьесы на сцене, или фальшивый банкомат, изготовленный ловким мошенником, принимает деньги, притворяясь подлинным. Иногда модификация происходит с общего согласия всех участников взаимодействия (в игре или в театре), иногда — по секрету от части из них (при обмане или розыгрыше). В любом случае, *primary framework* остается здесь образцом, от которого отсчитывается неподлинность.

Primary framework для коммуникации между учеными является разговор, в котором каждый говорит с теми, кого ему интереснее всего слышать и кому интереснее всего слышать его, причем интерес определяется поступающей информацией о предмете разговора, не какой-либо иной стороной происходящего. В качестве примера: представьте себе обмен информацией о какой-то практически значимой материи, типа железнодорожного расписания, в котором несколько человек сравнивают имеющиеся у них сведения и пытаются выяснить, чья информация наиболее свежая и надежная. Соответствие реальному академическому разговору этому идеальному образцу подвержено угрозам с нескольких сторон. Во-первых, разговор требует более-менее живого интереса к объекту обсуждения,

¹ Словами Сергея Ушакина: «Повторюсь: считать, что любая научная деятельность рассчитана на обмен мнениями, на циркуляцию итогов исследования — это беспочвенный оптимизм». Сергей Ушакин в явном несогласии с Мариной Могильнер, для которой «главным содержанием научного процесса все же является обмен знаниями», и оба они — с Александром Кузнецовым, для которого «производство знания первично по отношению к коммуникации».

который далеко не все академические люди сохраняют к середине карьеры и практически никто не может поддерживать все время, когда его полагается испытывать. Если бы ученые говорили и слушали только тогда, когда им действительно интересно то, что они могут услышать, а другим интересно то, что они могут сообщить, разговор постоянно рисковал бы заглухнуть¹. К счастью для беседы, схема ее построения является также схемой восприятия, образцом, с которым сопоставляется коммуникативное действие ученых, чтобы сделать выводы о самих этих ученых. В случае первичной схемы то, что говорится, говорится ради сообщения, которое передается².

Помимо информации, содержащейся в сообщении, процесс говорения, однако, оповещает также о многом другом — о том, что говорящий умеет говорить на определенном языке и считает тех, к кому обращается, знающими его, о том, что он способен предусмотреть некоторые возражения с их стороны и считает их способными эти возражения сделать, о том, кого он считает достойным быть услышанным, и о том, кого — нет. Часть этой информации может быть усвоена многими из тех, для кого само сообщение совершенно непроницаемо (в самой рудиментарной форме, как когда наукометрист считает ссылки в статьях в “Web of Science”, ни одну из которых он не способен прочитать). Исполнение партии в разговоре генерирует массу информации о говорящем и о других участниках этого разговора, причем как в их собственных глазах, так и в глазах посторонних наблюдателей. Эта информация порождает вторичные интересы, которые соседствуют с первичными, нарциссические, которые соседствуют с объектными, если использовать психоаналитическую терминологию.

Разговор может продолжиться и при полном отсутствии первичного интереса, но не ради информации о его номинальном объекте, которая содержится в репликах, а ради информации об авторах этих реплик или иных причастных к их произнесению, которую они сообщают. К несчастью, здесь возникает «вторых». Для разговора тот факт, что участие в нем является основанием для персональной оценки участников, сам по себе становится источником накопления неподлинности. Для того

¹ Вероятно, всякий, кто когда-либо прослушивал длинный список тем диссертаций, задавался вопросом, может ли кто-либо всерьез испытывать простой человеческий интерес к значительной части (возможно, подавляющему большинству) из них. Теоретическая схема этой статьи — попытка объяснить, как возможен академический мир, если ответ на этот вопрос отрицательный.

² Сергей Ушакин и мы при этом по-разному понимали отношение отправителя и сообщения в этом случае. Он, опираясь на Дерриду, предполагает, что произносящий добровольно предоставляет его свободной интерпретации, мы, следуя Миду, — что всякий автор стремится сохранить контроль над тем, что именно услышит аудитория. Вне зависимости от выбора одной из этих двух опций, тут мы имеем дело с разговорами, которые ведутся ради сообщений, а не ради сообщающих.

чтобы первичная схема не пережила модификаций, требуется не только чтобы первичные интересы существовали, но также чтобы вторичные интересы не превосходили их по силе¹. Вопросы, которые задают докладчику после семинара, будут слабо определяться тем, что действительно заинтересовало слушателей в докладе, если задающие их слишком озабочены тем, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость (причина, по которой аспиранты обычно задают особенно скучные вопросы). Поскольку информация, которую мы передаем о себе, прямо определяет наш академический статус, вторичные интересы современного ученого, возможно, всегда слишком сильны, чтобы допустить свободное выражение интереса первичного².

И мы, и многие из авторов «Форума» исходили из того, что коммуникация между учеными — понимая «коммуникацию» расширительно, как деятельность, организованную так, чтобы сходить за соответствие primary framework научного разговора — в значительной мере определяется вторичными, не первичными интересами. Иными словами, она является решением задачи трансляции информации об участниках взаимодействия, не о номинальном предмете обсуждения.

Мы исследовали одно из следствий этого — отпечаток, который на дискуссию накладывает неизбежно случающаяся в ее ходе выдача информации о признании относительной ценности этого и других параллельно звучащих разговоров, а также их участников. Авторы реплик указали на несколько других следствий. Сергей Ушакин и Адиль Родионов построили свои рассуждения на том, что слушание кого-то считается как жест, транслирующий почтение и таким образом утверждающий статус получателя. Жест такого рода представляет собой благо, которое может быть использовано для обмена на какое-

¹ Разумеется, это противопоставление чисто аналитическое. Внутренне разные формы интереса неразрывно переплетены. Слушая доклад коллеги, не так просто отделить любопытство по отношению к предмету сообщения от озабоченности тем, как будет выглядеть на его фоне твой собственный доклад, или от спортивного интереса к его успеху в состязании с соперниками, или от эмоциональной идентификации с человеком, переживающим разновидность профессиональной ордалии, или от эстетического наслаждения хорошим исполнением роли академического оратора. Более того, испытывающий интерес так же мало склонен признаваться самому себе в его истинной природе, как мало он склонен признаваться в ней другим.

² На заре современной науки джентльмены-ученые вроде Бойля настаивали на том, что университетский «философ», живущий со своей научной репутации, никогда не сможет быть хорошим естествоиспытателем, поскольку его интерес к природе неизбежно подавляется озабоченностью тем, что другие подумают о его способности познать эту природу [Shapin 1995]. Используя аналогию из совершенно другой сферы, Энгельс в «Происхождении семьи...» таким же образом обосновывает невозможность реализации подлинной любви при сохранении частной собственности на средства производства: «Полная свобода при заключении браков может, таким образом, стать общим достоянием только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений собственности устранил все побочные, экономические соображения, оказывающие теперь еще столь громадное влияние на выбор супруга. Тогда уже не останется больше никакого другого мотива, кроме взаимной склонности».

либо другое благо. Тот, кто контролирует эти другие блага, может принуждать к совершению подобной жестикуляции — как когда аспирант получает недвусмысленный намек на необходимость упоминать, цитировать и благодарить своего научного руководителя, а молодой преподаватель — на важность оказания аналогичных услуг локальной научной школе.

Сергей Ушакин замечает, что и провинциальную, и туземную науку роднит некоторое преобладание близкодействия над дальнодействием, больший вес, который имеет удовлетворенность непосредственного окружения по сравнению с удовлетворенностью отдаленной аудитории¹. Он указывает на низкую мобильность рынка труда как на одну из возможных причин. Если круг тех, от кого зависишь, уже определен, остается существенно меньше стимулов расточать подлежащие обмену ресурсы на тех, кто в этот круг не входит; если, однако, этот круг не известен, то приходится полагаться на другие механизмы упечения своего положения.

Адиль Родионов добавляет колоритных деталей, указывая на то, что А, принуждающий Б производить жесты почтения в его направлении, действует не столько по собственной воле, сколько в силу того, что существует С, которому А должен доказать факт своего научного лидерства. Поскольку в глазах С обладание А какой-то академической властью легитимно лишь постольку, поскольку А является более важным ученым, чем те, кем он руководит, А волей-неволей вынужден подталкивать их к выражению почтения². Адиль Родионов, кроме того, формулирует в наиболее общих терминах следствия этого положения вещей — снижение уровня абстракции производимых текстов, поскольку абстракция есть спутник анонимности и безличности рынка труда³. Я полностью солидаризуюсь со стремлением найти институционально-структурные основы наблюдаемого нами положения вещей, однако, как будет ясно дальше, не совсем уверен, что описанные условия являются необходимыми и достаточными.

¹ «Динамика отношений внешнее / внутреннее определяется здесь *наличием* (местного) адресата, чье присутствие не может быть проигнорировано». Часть идей высказана в личной переписке с автором. В туземном случае, А благоволит Б, который демонстрирует ему свое почтение, в провинциальном — А благоволит Б, который демонстрирует почтение Х, почитателем которого является сам А. При этом в провинциальной науке Б может быть настолько озабочен мнением А о нем, что предпочтет его одобрение одобрению собственно Х.

² В настоящее время в российской социологии список самых цитируемых авторов и крупнейших администраторов существенно различается [Кнорре, Соколов 2013]. Есть сильное подозрение, однако, что если кто-то в министерстве додумается утверждать кандидатуры ректоров или деканов на основании показателей цитирования, корреляция немедленно возрастет, причем не за счет изменения пула администраторов, а за счет изменения списка звезд.

³ Аналогичный аргумент был приведен в дискуссии в «АФ» Владимиром Гельманом несколько лет назад [Гельман 2008].

Реплика Юлии Бучатской содержит прекрасное этнографическое описание бюрократических истоков нарастания неподлинности первичной схемы на российском примере. Вынужденные производить заранее определенное количество реплик, ученые волей-неволей начинают строить фасад коммуникации, основной целью которой является демонстрация их соответствия статусу ученого. Это обрисовывает нам одну из трагедий современной науки: будучи частью бюрократической организации, она не может не подчиняться общебюрократическим императивам прозрачности и универсальности критериев оценки. Но, спроецированные на дискуссию между учеными, эти императивы неизбежно меняют ее природу.

Алексей Титков в своей реплике обрисовывает еще один источник возникновения небуквальности. Ведение дискуссии между учеными может носить имитационный характер, если подлинной аудиторией для циркулирующих в ней сообщений являются не те, кто, согласно первичной схеме, должны быть таковыми, а кто-то еще, например широкая публика. Он приводит пример из наших собственных исследований, в котором советские социологи ссылались на результаты массовых опросов, чтобы иметь право озвучить публично и без того всем известные претензии к советской власти. Распределение процентов, ошибки выборки и прочие наукообразности были тут источником права высказаться, не способом подкрепления тезиса¹.

2. За пределами туземности и провинциальности?

Все эти примеры, таким образом, вполне вписываются в нашу более общую схему, но часто выводят ее за пределы собственно «провинциальной» и «туземной» науки в том довольно узком смысле, в котором мы их понимали. Провинциальность и туземность возникают как реакция на восприятие коммуникации сквозь достаточно специфическую систему считывания, которая ранжирует участников по относительной ценности тех, кого они слушают и кто слушает их. Для ученых правильным считается слушать тех, кто работает в той же области, что и они, и стремиться быть услышанными ими же. По тому,

¹ Схема Алексея Титкова, таким образом, является следующим шагом по отношению к схеме Юлии Бучатской. У Бучатской номинальные адресаты сообщения не важны, как и его содержание, поскольку действительной аудиторией являются бюрократы-аутсайдеры, не участвующие в коммуникации, но желающие доказательств, что она происходит. В схеме Титкова номинальные адресаты-коллеги и контролирующие адресаты также существуют, но содержание остается важным, поскольку есть подлинная аудитория, состоящая из другой группы аутсайдеров, которым, собственно, и предназначено сообщение.

сколько человек в итоге их слышат, мы оцениваем их влияние¹. Наша оппозиция «провинциальное — туземное» появляется там, где возникает выбор между тем, чтобы правильно слушать, и тем, чтобы быть услышанным. Провинциальная наука — это предпочтение правильного слышания, туземная — возможности быть услышанным. Выбор между ними возникает вследствие проблем, которые мы разделили на демографические (неограниченный рост числа потенциальных участников разговора при сохранении тех же индивидуальных когнитивных мощностей), тематические (специализация профессиональных языков) и инфраструктурные (техническая невозможность слышать всех вследствие языковых или физических дистанций)². В своем зародыше он присутствует в любой комнате с разговорами, например, в салоне, в котором перед участниками собрания встает выбор между тем, чтобы присоединиться к самому большому кружку вокруг локальных звезд, сознавая, что им вряд ли дадут там вставить слово, или создать собственный кружок из людей в таком же положении, который никогда не будет таким же большим, но даст возможность каждому ощущать себя хоть кому-то интересным³.

Как показывает пример салона, провинциальность или туземность могут быть сугубо ситуативным выбором. В этот момент я веду себя так, в другой — иначе, в соответствии с тактическими соображениями. Сами по себе инфраструктурные проблемы еще не задают консистентной линии поведения. Ее создает как раз система ожиданий, система считывания, способ видения академических других и возможность манипуляции ими. Кого моя аудитория сочтет правильным для меня читать и за чье невнимание меня осудит — отчасти находится под моим контролем. Я могу попробовать повлиять на их вердикт, представив какую-то рационализацию или просто не дав возможность осознать альтернативу. Наука становится туземной или провинциальной тогда, когда обоснование правильности одной из линий начинает довлеть над всем коммуникативным поведением, неизбежно превращаясь в стабильный, постоянный паттерн. Кроме того, оно приобретает черты экзистенциального выбора. Например, если я в собственных и чужих глазах оправдываю свое незнание иностранных языков тем, что считаю свою национальную науку лучшей в мире, если я при-

¹ Нечто подобное происходит на любом круглом столе, где следующие говорящие обращаются к репликам предыдущих и к концу круга каждый заканчивает со счетом, показывающим, насколько удачным было его выступление.

² Владимир Напольских в качестве самостоятельной проблемы предлагает ввести приток в науку людей с «ненаучным складом ума», но мы, мысля социологически, воздержались от определения проблем в таких терминах.

³ Подумайте о фуршете после любой большой международной конференции.

лагаю значительные усилия, чтобы доказать ее приоритет, и если я стараюсь не убедиться и не дать своим студентам обнаружить, что в чем-то не-национальная наука ее опередила, и все это становится одной из основных сюжетных линий в моей академической жизни — вот тогда я становлюсь туземным ученым.

Заметим попутно, что, хотя статья, как и последующая дискуссия, были в основном посвящены туземности и провинциальности, возникающим из инфраструктурных ограничений, в первую очередь связанных с национальными границами (но также с региональными дистанциями), не эти ограничения порождают их самые заметные в академическом мире формы. Дисциплины — базовая форма организации академического мира — по своей сути являются туземными образованиями (это совершенно точно отмечено в реплике Михаила Крылова). Практика воспитания в студентах-социологах лояльности и почтения к «социологической традиции» и иррациональной веры в то, что психологические, экономические или биологические объяснения априорно иррелевантны для их работы, например, полностью подпадает под наше определение туземности (больше об этом см.: [Соколов 2009]). Интересно, что институциональные причины, которые Сергей Ушакин и другие предлагают в качестве истоков туземной науки, кажется, совершенно не объясняют возникновения дисциплин¹. Заметим также, что территориальная и дисциплинарная туземность / провинциальность могут находиться едва ли не в состоянии взаимодополнительности, возможно, в силу того, что они в разных направлениях снимают наше демографическое ограничение. Российские социологи, избавленные от необходимости читать западных коллег, получают возможность читать, например, биологов. В результате территориальная туземность дополняется дисциплинарной провинциальностью (например, одиозная в глазах территориальных провинциалов / дисциплинарных туземцев синергетика), и наоборот².

¹ Эндрю Эбботт называет в качестве таковых общую структуру академических институций с их делением на изоморфные департаменты, курсы, специализации и тому подобное [Abbott 2001]. Эта структура постоянно побуждает нас нивелировать внутривидовое разнообразие, наращивая миметическую адаптацию в терминологии Андрея Нехаева. Скажем, диссертант-социолог должен говорить что-то такое, что воспримет весь совет целиком, тем самым увеличивая однородность внутри дисциплинарного сообщества.

² Заметим, что существует еще одно измерение, в котором может разворачиваться отношение провинциальности или туземности, — историческое или временное. Наши предшественники нам никогда не ответят. По отношению к ним в дисциплине также выстраиваются лагеря тех, кто считает, несмотря на это обстоятельство, необходимым знать их не хуже или даже лучше, чем современников, в силу веры в существование «золотого века» в прошлом, и тех, кто верит, что их обязанность — забыть это прошлое как страшный сон. Социология, как и социальные науки в целом, является крайне провинциальной в этом плане дисциплиной по сравнению с науками естественными.

Марина Могильнер совершенно права, когда утверждает, что такие застывшие, крайние формы — вещь совершенно не неизбежная и есть много способов прожить академическую жизнь, не оказавшись на одном из полюсов (с вызывающим восхищением отсутствием ложной скромности она иллюстрирует это многочисленными примерами из собственной биографии). Вопросы редакции, предлагавшие читателю отдать предпочтение «туземной» или «провинциальной» науке, как если бы это был выбор между белыми или черными фигурами, были намеренно провокационными. Можно оставаться в игре, не выбирая цветов вовсе. Не все обязательно находятся на той или иной стороне барьера; некоторые живут, как если бы барьера не существовало¹. Кроме того, даже там, где барьер есть, он обычно не предотвращает циркуляцию идей полностью, просто делает их движение несколько более затрудненным, причем чем важнее поддержание своей туземной / провинциальной идентичности, тем это движение менее свободно².

Есть ли этот барьер для большинства людей, и если есть, то насколько вероятно его преодоление — вопрос эмпирический. В случае с социологией мы находим убедительные доказательства того, что он (а) есть и, (б) во всяком случае, для многих территориальных популяций социологов является основным образующим внутренние границы признаком. Для того чтобы убедиться в первом, достаточно посчитать входящие и исходящие ссылки друг на друга в американских, российских или индийских журналах. Как ни трактуй ссылки — в нормативистском духе (как выражение благодарности и признания) или в конструктивистском (как попытку укрепить собственные аргументы, взяв в заложники влиятельных авторов) — асимметрия цитатного потока свидетельствует о предельно неравном распределении ощущаемой ценности того, что печатается в изданиях каждой страны. Так вот, по

¹ Многие из авторов реплик задавались вопросом, как мы представляем себе столичную науку. Наш собственный ответ, когда мы писали эту статью, заключался в том, что мы видим в ней просто разновидность туземной, отличной от всех прочих лишь тем, что она окружена шлейфом провинциалов, согласных считать ее столичной (понимание, наиболее близкое к нашему, содержится в выступлениях Юлии Антонян и Левона Абрамяна в Ереване, см. также описание «столичной» американской экономики в реплике Олеси Кирчик). То, что отличает ее от других туземных наук, — некоторая спокойная уверенность в своем превосходстве, которая делает задачу устранения из своего поля зрения внешнего мира менее настоятельной. Она — используя психоаналитическую аналогию с вытеснением — менее невротична. Возможно, ей свойственно становиться в результате и менее туземной, не становясь провинциальной, и все те защитные механизмы, которые мы описываем здесь, становятся для нее менее ограничительными.

² Возможно, главная слабость «Фрейм-анализа» Гоффмана — ограничение рассматриваемых фреймов только дискретными образованиями, в которых происходящее является или первичной, немодифицированной реальностью, или какой-то ее трансформацией. Вокруг себя, однако, мы часто наблюдаем континуум, не разрыв. Фабрикация и переключения представляют собой не столько типы событий, сколько свойства или характеристики, присущие в той или иной мере большинству событий.

нашим в высшей степени приблизительным пока подсчетам, вероятность встретить в индийском журнале ссылку на американский журнал по социальным наукам примерно в 20 раз больше, чем найти ссылку, ведущую в обратном направлении¹. Я не сомневаюсь, что Марина Могильнер права, говоря об успехе индийских постколониальных исследований. Беда с единичными контрпримерами, однако, всегда состоит в том, что они подменяют анализ общих тенденций анекдотами. Есть чистильщики обуви, ставшие миллионерами, темнокожие звезды кино и женщины — премьер-министры. Из этого нельзя прямо перейти к выводу о том, что не существует воспроизводства классовой иерархии, или расизма, или гендерного неравенства — надо вначале задаться вопросом «сколько» и «как часто».

Данные в пользу того, что провинциальность или туземность понимаются как ключевые элементы идентичности, структурирующие коммуникации на самой периферии академической миросистемы, а не что-то случайное или ситуативно преходящее, могут быть взяты из нашего исследования петербургских социологов². Рис. 1 отображает сетевую близость между примерно 250 социологами, активными в Петербурге в 2000—2009 гг.

Цвет точек указывает на близость к одному из полюсов на шкале ассимиляционизма — изоляционизма. Белым точкам соответствует ассимиляционизм (согласие с утверждениями типа «Российская социология отстала от западной на десятилетия, и мы должны сейчас учиться всему у своих западных коллег»), темным — изоляционизм (согласие с утверждениями вроде «Российские социологи должны заботиться о сохранении и развитии национальной социологической традиции»). Несмотря на то что некоторые светлые точки попадают среди темных, а темные — среди светлых, налицо явное тяготение к себе подобным. В численном отношении ассимиляционист имеет примерно в 2,5 раза больше шансов быть связанным с другим ассимиляционистом, чем с изоляционистом³.

¹ Эти подсчеты являются частью проекта по сетевому анализу связей в академической миросистеме; первые результаты будут доступны для запросов по требованию в начале 2014 г.

² См., в частности: [Сафонова 2012]. Рис. 1 преобразован из карты социальной сети, в которой связь между А и Б соответствовала указанию на то, что А получал от Б приглашение выступить с докладом, опубликовать статью, занять позицию и т.д. Геодезические дистанции были затем для удобства отображения подвергнуты многомерному шкалированию.

³ E-I index = -0.414, при использовании бинарной логистической регрессии для предсказания связи между парами индивидов именно шкала ассимиляционизма дает наилучшие результаты. Двумерное решение сократило стресс до 0.1.

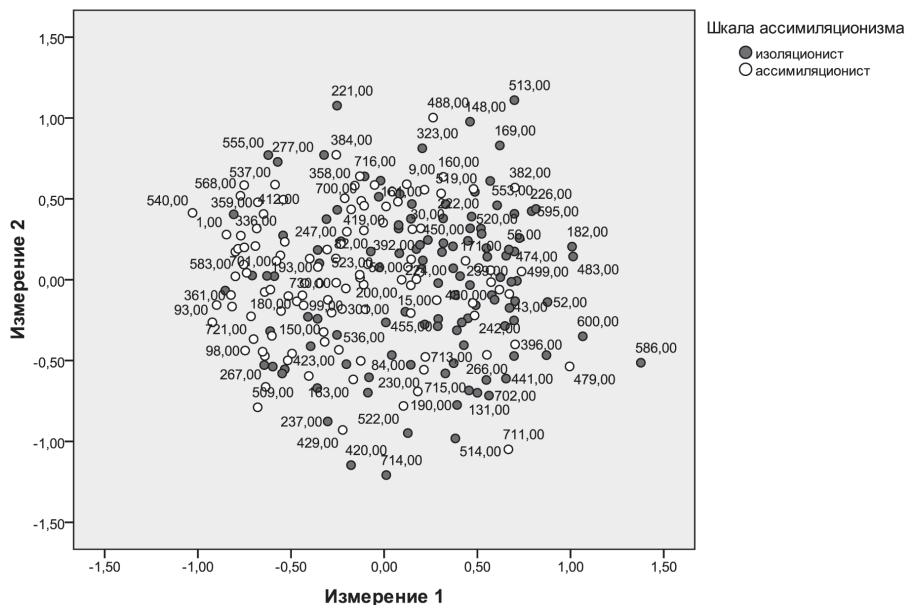


Рис. 1. Карта петербургской социологии с нанесенным атрибутом «ассимиляционизм — изоляционизм»

3. Центры и периферии в пространстве

Как следует из всего сказанного выше, провинциальное или туземное в нашем понимании не обязательно имеют пространственное измерение и, возможно, даже как правило не имеют его. Мы полностью солидарны с авторами, которые отметили это (например, с Юлией Бучатской, Александром Бермусом, Гамлетом Мелкумяном, а также другими участниками ереванского круглого стола, обсуждавшими «надстоличность» отдельных дискуссий). В каких случаях, однако, наши признаки все-таки получают пространственную привязку, и что определяет положение отдельной организации, издания, группы или индивида в этой системе?

Мы привели несколько соображений. Авторы «Форума» дополнили их еще многими другими, из которых я отмечу здесь два: в социальных науках, во всяком случае, имеет значение локальное производство знания и его локальное потребление.

С одной стороны, прямой доступ к предмету исследования (архивам, раскопкам, информантам, закрытой статистике) создает конкурентное преимущество, которое обычно имеет значение — словами Михаила Крылова, «на самом же деле, в Москве находится мировой центр по изучению проблем славяноведения, а в Сеуле пытаются “обобщить зарубежный опыт”, т.е. за-

нимаются <...> “провинциальной наукой”». По контрасту с этим, Владимир Рыжковский утверждает, что российской исторической науке не удалось воспользоваться своими конкурентными преимуществами, вытекающими из близости к местам залегания архивных данных¹. Но и Владимир Рыжковский, однако, согласен, что за счет академической версии полезных ископаемых положение национальных историков существенно лучше, чем представителей других дисциплин.

С другой стороны, там, где производимая информация потребляется локально, особенно людьми, не связанными прямо с академическим миром (например, управленцами в экономике или широкими читающими аудиториями в истории), импорт не может в полной мере вытеснить внутринациональное производство, во всяком случае до тех пор, пока страна не настолько богата, чтобы заставить большой сектор внешнего академического мира обслуживать свои потребности. В силу этого столичная наука не может просто оккупировать всю территорию, как это происходит внутри страны с мобильным рынком ученого труда, где выпускники лучших университетов занимают все позиции в секторе высшего образования, а выпускники худших идут работать в колледжи и средние школы [Burriss 2004]. Провинциальная / туземная периферия постоянно получает пополнение, причем каждый успех в удовлетворении запросов внутренней внеакадемической аудитории, достигнутый не вполне легитимным в глазах внешней академической аудитории способом, усиливает туземную реакцию (см. реплику Олеси Кирчик об экономической науке). Территориальное распределение аудиторий ученых задает пространственные привязки дискуссий.

В одном отношении чтение реплик заставило нас пересмотреть свои выводы как грубое упрощение. Когда мы писали, то рассматривали все российское пространство как внутренне однородное и вынужденное определять свое отношение к условному столичному «западу». Мы ощущали себя находящимися на безусловной периферии академической миросистемы и предполагали, что все периферийные агенты периферийны одинаково. Многие из авторов реплик нашли именно эту предпосылку особенно неадекватной. Фактически оказалось, что географические референты наших рассуждений не всегда считаются, судя по тому, что несколько человек сочли необходимым отметить в той или иной форме, что столичная наука не является наукой столиц (имея в виду Москву и Петербург). Национальная наука во внутренне колонизированной стране

¹ Количественные данные по цитированиям подтверждают скорее точку зрения Владимира Рыжковского, см.: [Савельева, Полетаев 2009].

типа России имеет собственные центры и периферии, и в этом смысле наши типы дают самые непредсказуемые вариации. Как надо классифицировать, скажем, региональные группы, провинциальные по отношению к туземной — в мировом контексте — московской школе? Владимир Рыжковский представляет широкое полотно провинциально-туземных отношений в российской историографии США и СССР, а затем РФ, показывая, насколько запутанными они могут быть. Ситуация усложняется еще больше благодаря существованию остатков советской академической империи¹ — тема, широко обсуждавшаяся участниками круглого стола в Армении (Смбат Акопян, Юлия Антонян, Левон Абрамян, Лусинэ Гусян, Гаяне Шагоян). Елена Гапова дает перекликающиеся с этими комментариями о положении современной Беларуси в отношении к России и Западу.

Елена Гапова делает также предположение о том, как — внутри территориально-периферийных зон — происходит подразделение на туземное и провинциальное. Она утверждает, что они соответствуют стратам в институциональной иерархии (высшему слою университетов соответствует провинциальная позиция, а низшему — туземная), и указывает на то, что оппозиция между двумя нашими реакциями несет в себе сильный классовый компонент. Я согласен с этим как с эмпирической генерализацией для российского и некоторого количества других (например, казахстанского или индийского) примеров. Во всех них произошло деление университетов на «национальные научно-исследовательские», предназначенные обеспечивать глобальную «видимость» страны, и все прочие. Первые, играющие роль витрины, неизбежно вынуждены были соответствовать всему, что сходило за «международные стандарты» — провинциализм был для них экономической стратегией, дающей немалое, по местным меркам, процветание. Соответствие этим стандартам для университетов второго эшелона заботило кого-либо значительно меньше, и, в сильном ресентименте, они часто занимали противоположную по отношению к первым позицию, в надежде что поворот во внутренней политике от низкопоклонства перед Западом откроет перед ними возможности для роста. Надо заметить, однако, что для России, во всяком случае, эта конфигурация складывается сравнительно недавно — она во многом является частью «медведевской модернизации» — и пока неясно, не закончится ли вместе с ней. Обращаясь к очень интересному комментарию Гаяне Шагоян о меньшем контроле на периферии СССР и развитии там течений, которые не могли развиваться в центрах, в некоторых ситуациях туземность и провинциализм

¹ Об академических империях см.: [Сафонова 2011].

могут иметь прямо противоположные административно-пространственные референты.

Мой последний комментарий будет моим собственным ответом на вопрос «АФ» об относительной ценности провинциальной и туземной наук и о возможности «третьего пути». Разумеется, дискуссия, которая не впадет ни в одну из крайностей, возможна, в том числе и в России. Само существование наших типажей обусловлено не столько инфраструктурными сложностями, сколько попыткой рационализировать свое поведение в условиях этих сложностей в рамках преобладающей системы считывания академических характеров, которую мы применяем к самим себе и к окружающим. Если наша статья направлена против чего-то, то против некритического восприятия этой системы считывания, не против провинциалов или туземцев, ставших ее жертвами. По большому счету, провинциалов делает таковыми страх оказаться туземцами, а туземцев — страх стать провинциалами, да еще и неуспешными в этом качестве. Мы — в моей трактовке нашей совместной работы — хотели сказать, что не надо бояться одного больше, чем другого, и ни того, ни другого не надо бояться слишком сильно. Любого рода страх сделать что-то, что не будет соответствовать ожиданиям от участника научного разговора, делает этот разговор лишь имитацией самого себя.

Библиография

- Гельман В.* Ресурсы и репутации на постсоветских рынках: постсоветские социальные науки // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 41–47.
- Кнорре А., Соколов М.* Престиж, власть и социальный капитал в российской социологии // Социологические исследования. 2013. № 10 (в печати).
- Савельева И., Полетаев А.* Зарубежные публикации российских гуманитариев: социометрический анализ // Вопросы образования. 2009. № 4. С. 199–217.
- Сафонова М.* Академическое наследие империй: куда текут потоки международной студенческой миграции? // Ab Imperio. 2011. № 2. С. 261–299.
- Сафонова М.* Сетевая структура и идентичности в локальном сообществе социологов // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 107–120.
- Соколов М.М.* Гоффман, Мэри Дуглас и смысл (академической) жизни: Церемониальные аспекты критических дискуссий в теоретической социологии // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 130–143.
- Abbott A.* The Chaos of Disciplines. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2001.

- Burris V.* The Academic Caste System: Prestige Hierarchies in PhD Exchange Networks // *The American Sociological Review*. 2004. Vol. 69. No. 2. P. 234–264.
- Goffman E.* Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. N.Y.: Harper and Row, 1974.
- Shapin S.* A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1995.

КИРИЛЛ ТИТАЕВ

Несколько коротких реплик в дополнение к ответу М. Соколова

Есть два класса замечаний, на которые реагировать бы не хотелось. Первый связан с использованными названиями двух форм коммуникации в науке («провинциальная» и «туземная»). Как сказано выше, «провокация удалась». Мы изначально искали максимально провокативную метафору и, кажется, ее удалось найти. Вторая группа замечаний связана с прямым пониманием «столичного» — «провинциального» — «туземного» как географических разделений. Москва / Петербург или Бостон / Лондон в качестве столиц и далее вниз. Вероятно, нам не удалось достаточно внятно подчеркнуть мысль о том, что никакой географической привязки (уж для России точно) тут не существует. В Москве и Санкт-Петербурге представленность туземцев по меньшей мере достаточная. Есть даже ощущение, что пропорциональное соотношение туземцев / провинциалов в Москве, Иркутске или Магадане будет примерно равным. Также, учитывая ограниченный объем этого текста, к огромному сожалению, нет возможности ответить каждому автору комментария, поэтому придется ограничиться выделением некоторых общих и важных тем.

Первая тема, которая кажется очень интересной, — это вопрос о столичной науке. На уровне анализа авторы ограничились дихотомией «туземная — провинциальная», но

Кирилл Дмитриевич Титаев
Европейский университет
в Санкт-Петербурге /
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург
ktitaev@eu.spb.ru

многие комментаторы (например, Владимир Рыжковский) начали рассматривать ее как трехчленную систему различений. Вопрос о том, что такое для этой модели «столичная» наука, раскрывает в своих комментариях Михаил Соколов. Мне же хотелось обратиться к другому важному вопросу — о том, как видятся «столичные» науки из туземных перспектив. Дело в том, что, описывая науку как коммуникацию определенного рода, мы видим, что столичная наука может быть либо вариантом провинциальной (редко), либо «гипертуземной».

Так, есть дисциплины, в которых существует диспаритет коммуникаций (те, кому мы говорим, не могут нас услышать, а те, кто нас на самом деле слушает, для нас как бы не значимы). К такой области можно отнести отдельные ветви всевозможных отраслевых studies (educational, urban, law and society etc.). Основной адресат — это высокая теория своей науки (социология, экономика и т.д. — именно их цитируют и в их дискуссию пытаются внести вклад на своем материале). На практике же эту дискуссию в горних высотах чистой социологии, экономики и т.д. никто не видит. Корифеи отраслевых studies, даже если они считают себя, например, социологами, в социологическом мейнстриме совершенно неизвестны (за редкими исключениями). Зато они неплохо известны в среде, которую как бы «презирают» — среди практиков от образования, урбанистов, криминологов и т.д.

Второй вариант столичной науки — это максимально туземная наука, которая попросту не видит никакой другой и ведет разговор исключительно внутри себя, о чем подробно пишет Михаил Соколов.

Таким образом, если оставаться в рамках приведенной модели, то интереснее всего то, как выглядит столичная наука как порождение туземного и провинциального мышления (поскольку, как мы видим, всякая саморефлексия академической коммуникации может быть только провинциальной или туземной). И здесь мы наблюдаем несколько важнейших отличительных признаков.

Провинциал мыслит столичную науку как некоторый подлинный чистый мир, в который надо стремиться. Соответственно она обрывает некоторым количеством смыслов, которые выстраиваются как негативное отражение окружающей действительности. Столичная наука предстает незабюрократизированной, этичной, высокопроизводительной, относительно свободной от такого зла, как дополнительная нагрузка всякого рода (преподавание, прикладные исследования и т.п.). Столица оказывается миром, в котором спорят не о новом наряде соседа по кафедре, а исключительно о новой трактовке идей

автора Х в последней работе автора У. Ну и конечно, столичная наука предстает практически свободной от такой низменной проблемы, как поиск денег. Ну и самое главное: это мир, в котором «столичные ученые» слышат высказывания других столичных ученых и как-то на них реагируют.

Что же касается туземной науки, то она также строится от противного, но в обратном направлении. Заметим, кстати, что абсолютно изолированной туземной науки не существует: так или иначе, представления о наличии некоторых альтернативных центров существуют всегда. И вот образ этой столичной (или альтернативно-туземной, с точки зрения коммуникативной модели это не важно) науки формируется как противопоставление всему хорошему, что есть здесь и сейчас. Это будет мир, который работает в отрыве от локальных реалий, занимается бессмысленным трудом, не имеющим отношения к практике или единственно верной теории, мир, в котором ученые заняты деньгами / популярностью, чем-либо еще, но только не подлинной наукой. Лишь в одном туземцы будут смотреть на столичную науку так же, как и провинциалы. И те, и другие будут считать, что там гораздо больше денег. И столичная наука будет для туземца таким специальным местом, где не слушают его (их) и для которого он не говорит (пишет).

Наряду с проблемой столичной науки в ряде отзывов заставляют «ученого» становиться провинциалом или туземцем внешние условия (Елена Гапова, Марина Могильнер, Адиль Родионов, Жаксылык Сабитов, Сергей Ушакин). Этот вопрос представляется крайне интересным. Ведь коммуникативный формат задается не только «изнутри» академии, но и некоторыми внешними воздействиями. Это может быть власть, которая прямо запрещает опору на внешние данные или стимулирует работу с локальными авторами — принудительно «отуземливает» все, что располагается в национальных границах. Причем это может быть артефактом как политической культуры, как описано на примере Казахстана, так и институциональной структуры. В России сложно придумать более «отуземливающий» ритуал, чем защита квалификационной работы. Этот контекст может быть ресурсным (доступ к информации, опора на разные финансовые базы и т.д.). Это может быть, наконец, проблема коммуникативного дефицита и необходимости вписаться хоть в какое-то пространство. Для того чтобы хотя бы временами принимать участие в туземных диалогах, провинциалу приходится «отуземиться», а туземцу освоить минимальный набор штампов, позволяющих выглядеть провинциалом. В этом плане формат коммуникации, который мы наблюдаем, задается еще и теми ограничениями, которые оказываются в географической / дисциплинарной / институциональной локации.

Наконец последнее, что стоит отметить, это комментарии, которые говорят о том, что ключевое различие состоит как раз не в формате коммуникации, но в ее наличии / отсутствии (Алексей Титков, Сергей Ушакин). Во-первых, кажется, что разграничение отношения к дискуссии в духе есть / нет предполагает очень жесткое в основе своей определение того, что же есть эта самая дискуссия. Т.е. мы либо соглашаемся считать имитационную (возможно) дискуссию дискуссией (ибо тексты публикуются и формально ссылки присутствуют, идеи (как бы) циркулируют и т.д.), либо нет. В первом случае мы должны опираться на очень жесткое, очень детальное и очень нормативное определение дискуссии и / или отношения к ней. Соответственно, на начальном этапе исследования, при использовании такого подхода, следовало развесить на всех участников ярлыки типа «склонен к дискуссии» — «к дискуссии категорически не склонен» и дальше работать от созданной таким образом системы различий, описывая имманентные тем или иным положениям на этой шкале практики написания текстов, академической мобильности и чего угодно еще, что нас заинтересует. При этом, как очень точно подметил Юрий Пустовойт, формально в туземном мире все тоже будет более чем неплохо. Степени, статусы и административный ресурс традиционно оказываются более доступны туземцам.

Также хотелось бы прореагировать на несколько отдельных отзывать. Продолжая предыдущую мысль, стоит отозваться на критику Бориса Степанова, касающуюся конституирующих свойств туземной науки и ее некоторой «неубедительности». Ловушка здесь состоит в том, что туземная наука ровно в силу своей специфики оказывается невидимой что из провинциального поля, что из других туземных полей. Если кто-нибудь попытается продолжить начатую авторами ревизию туземных гуманитарных наук в России, то он найдет массу уникальных вещей. Так, существует (во всяком случае, существовала в 2007 г.) православная рериховская политология. И в локальной среде (ограниченной не географической, а ведомственной принадлежностью) считалась мировой наукой, проводила конференции и переваривала довольно серьезное финансирование. Кратко говоря, основная проблема изучения туземной науки в том, что как только мы начинаем видеть некоторую ее часть, мы методически обязаны предположить, что это максимально «отуземленная» ее часть.

Хотелось бы не согласиться с предлагаемым Александром Кузнецовым разделением на консервативную и динамичную науку, сопоставлением РАН и НКО. Наиболее увлекательные из известных нам туземных феноменов вырастали как раз на стыке государственных и негосударственных структур (точнее,

эффективно пользовались теми и другими) и были вполне динамичны.

Завершая, замечу, что комментарии, которые пришли к этому «Форуму», позволяют развернуть главную, на мой взгляд, тему, которую на общетеоретическом уровне мы в статье пытались разрешить. Почему именно в качестве науки нужно изучать то, что из «своего» мира (туземного, столичного, провинциального) наукой вообще не кажется? Именно такое изучение для меня лично есть главный способ поставить под вопрос свой собственный «научный» мир.